

„Нашъ Чеховъ.“

„2 июля исполнился десять лѣтъ со дня смерти нашего Чехова“—такая фраза попала въ мою голову въ одной изъ статей о чеховскихъ письмахъ. И она запомнилась мнѣ не потому, что была чѣмъ-нибудь замѣчательна, въ чемъ-либо оригинальна. А, наоборотъ, потому, что она обыкновенна и типична.

Типична въ ней мною подчеркнутая сторона—нашего Чехова. Въ насъ много себя выражение советъ особое чувство, которое существовать у насъ по отношению къ Чехову.

Конечно, и Пушкинъ, и Гоголь, и Достоевскій, и Толстой—все они наши русские. Но поморимъ мы „нашъ Пушкинъ“ или „нашъ Толстой“ съ гордостью, какъ о великихъ людяхъ, составляющихъ славу нашей страны и нашего народа. Мы говоримъ такъ въ особенности, когда хотимъ указать, что и у насъ есть чѣмъ померяться передъ Европой.

И совсемъ иначе звучитъ „нашъ Чеховъ.“ Вотъ въ этомъ что-то важное, интересное. О Чеховѣ говорить у насъ, какъ о близкомъ родномъ человѣкѣ.

Онъ прекрасный писатель, большой художникъ. И онъ также—нашъ милый Антонъ Павловичъ, „нашъ Чеховъ.“

Бурный поставилъ эпиграфомъ къ своимъ воспоминаніямъ о Чеховѣ слова: „Онъ между нами жилъ.“ И онъ выразилъ этотъ чувства не только членомъ изъ писательской среды, непосредственно соприкасавшагося съ Чеховымъ во время его жизни.

Какъ будто все соприкасавшееся съ Чеховымъ непосредственно. Какъ будто онъ, действительно, жилъ между нами, видѣлся и общался со всею читающей и мыслящей Россіей.

Такъ не сказано о Толстомъ. Мы тушевали присутствіе Толстого въ нашей жизни. Но онъ гдѣ-то выскочилъ надъ нами. А Чеховъ... „Онъ между нами жилъ.“ „Нашъ Чеховъ“ жилъ и творилъ гдѣ-то тутъ, совсемъ рядомъ.

Была полета жизни, когда между нами и Чеховымъ образовалось некоторое разстояние. Когда мы ушли отъ Чехова, зажали было какъ-то по-новому.

И тогда казалось—какъ быстро Чеховъ устарѣлъ.

Но жизнь вернулась къ разбитому корыту и вернула насъ къ Чехову. Оказалось, Чеховъ далеко еще не устарѣлъ. Сталъ онъ по-прежнему близокъ и дорогъ...

И, помня десятигодовщину его безвременной кончины, мы повторяемъ снова: „онъ между нами жилъ“.

По словамъ одного изъ критиковъ—„секрета чеховскаго общія, чеховскія близости къ намъ были въ удивительной полнотѣ воплощенія въ себѣ настроеній своего

момента. Удивительно чеховскимъ человекомъ былъ Чеховъ для поколѣній 80-хъ и 90-хъ годовъ, съ его раннимъ утомленіемъ, надрытомъ сердцемъ до начала труда, мукой по дальности, идеямъ жизни—свѣтлой, измѣнной и прекрасной, съ пылкой, наконецъ, тоской сърыть, пенитенціальныя, унылыя будни“.

Но восторженное поклоненіе, настоящий благоговѣйный культъ Чехова находятъ адептовъ и среди бывшихъ молодыхъ промѣнливъ. Конечно, это отчасти результатъ пресловутаго разбитаго корыта. Но есть, думается, и иные мотивы.

Отъ имени Чехова идетъ на насъ тихий и теплый обаяніе. Мы живемъ чуждымъ непосредственнымъ воспріятіемъ этого обаянія близкимъ Чехову людямъ и даже только восторженными съ нимъ, но всѣмъ воспріятіемъ о Чеховѣ. Чужды эти воспріятія и черезъ собственныя чеховскія произведенія обаяніе его личности получила всеобщее распространѣніе.

Чеховъ былъ обаятельнымъ, удивительно милымъ, чуткимъ и скромнымъ человекомъ. Вся жизнь его. И свое знаніе объ этомъ всегда присоединяетъ безосновательно къ своему впечатлѣнію отъ чеховскихъ вещей.

Видъ мы всегда съ нѣсколькими особенными отношеніемъ подходимъ къ тому, что написано талантливымъ или гѣмъ болѣе роднымъ человекомъ. Такого же особымъ является и нашъ подходъ къ Чехову.

Если попробовать отнестись къ Чехову какъ къ „чужому“, то—я увѣжденъ въ этомъ—и отбѣга чеховскихъ вещей измѣнятся. Останется признание таланта, восхищеніе художественнымъ мастерствомъ, но сравнительно въ умѣренной степени.

Чеховское обаяніе есть своего рода внушеніе, исходящее изъ результатовъ гипноза. Объяснить по существу, оно въ размѣрахъ своего дѣйствія представляется уже нѣсколько загадочнымъ.

И меридіо подумывать, какъ могутъ вызывать восхищенія явно для меня неудачными чеховскими вещами, какъ могутъ приводить аутизмъ не въ умѣренію инымъ чеховскимъ шуткамъ, они—такъ для меня или остроумнымъ.

У Чехова есть вещи—бисеромъ прекрасныя, исключительныя,—кто же осмѣлится отрицать это?—есть вещи ordinarily хорошия, недурныя, посредственныя и въ изрядномъ количествѣ опредѣленно слабыя. Но гдѣ начинается культъ Чехова, тамъ въ сущности исчезаетъ различіе чеховскихъ произведеній по этимъ качественнымъ ступенямъ.

И это потому, что читателю не просто нравится чеховское хорошее и талантливое, а все чеховское ему дорого, какъ принадлежащее „своему“, близкому и родному, и удивительно хорошему, бесконечно близкому человеку.

И этотъ человекъ говорить намъ о жизни своей и нашей. Говорить просто и безне-

контрастно. И по внешности, по тому как будто казнить спокойно.

Но нас не обманешь! Мы чувствуем за этим вышшим спокойствием ужас и тоску его и нашей жизни, за тем и слабые прозрения, его и наши слезы, его и наши надежды.

В Чехове читаешь никогда не видить человека, который выше его, читающего, крупнее по размаху мысли и порою чувств. Чехов, конечно, был человеком неслыханно одаренности и прекрасных душевных качеств. И все-таки по тону и калибру мысли и чувств он, как будто такой же, как «все»...

Но потому ли его язык так неистов, и его чувство так легко передается, несмотря на то, что по сознательному расчету писателя мастерски скрыто под личиной холодности и спокойствия?

Эта холодность и спокойствие Чехова, его кажущееся безразличие к добру и злу не раз вводило в заблуждение критиков (напр. Михайловского). Но читатель никогда не ошибался.

Чтобы мучительность и ужас того, о чем рассказывается, действовали острее, нужен отталкивающий фон, в виде спокойного характера повествования. Чехов прямо пишет об этом в одном из писем к писателю Авиловой.

И безошибочность этого расчета всегда оправдывается на чеховских рассказах. Самые «спокойные» из них действуют с чрезвычайной остротой, от них нападает гнет и отчаяние. Меня, по крайней мере, Чехов мучил и угнетал. Даже и в тех случаях, если его художество меня даю не удовлетворяет.

И в таких, именно случаях и потому поставить над творчеством Чехова большой знак вопроса. Справедливо ли: так ли оно?

Подобным вопросом задавался и Михайловский. Но там были совсем другие основания. Михайловский думал, что Чехов «с холодной кровью подписывает», а читатель чеховских вещей «с холодной кровью полагивает». Михайловский думал, что «Г. Чехов и сам не знает в своих произведениях, а так себя гнет и мучит жизнь и дулочки, ухватить то одно, то другое».

Мы знаем теперь, что пристально и зорко смотрел на жизнь Чехов. Знаем, что он писал о том, что видеть и как видеть (по выражению Толстого, считавшего его «величайшим достоинством»), но писать вовсе не «с холодной кровью». И сами мы «с холодной кровью» читали Чехова не можем.

«Зачем он мучит?» спрашивал Михайловский про рассказ («Почта»), от которого решительно никому не гоня, ни радости. Если бы этот рассказ воливался, трогал, даже мучил, его существование было бы для Михайловского оправдано.

Я же спрашиваю «зачем он мучит» про вещи, которые меня мучат, и именно потому, что он мучит меня, не доставляя ни эстетических восторгов, ни каких-либо

точек для работы моей мысли, ни возможности пережить каких-либо сильных и будничных чувств.

Я вовсе не требую от искусства практической пользы. Но для достаточного оправдания для произведения искусства и в том, если оно доставляет удовольствие. Иногда понятие «удовольствие» не применимо к тому, что вами пережито, но вы чувствуете, что это произведение что-то дало вам, чем-то вас обогатило.

Но если и не получаю удовольствия и не чувствую каких-либо обогатения? Если большой талант писателя, его замечательный художественный дар употребляет на то, чтобы с осознательной напускной предстать мне образ окружающей среды, с едкой тоскливой обидчивостью и глумливой ползостью — заставить меня звать талант и его творчество?

Чтение чеховских вещей на редкость редко приводит меня в тоскливое, худое настроение. И оно необходимо должно так действовать, так как вещи эти слишком талантливы, слишком мастерски написаны и слишком живы, чтобы можно было оставаться к ним равнодушным.

Чтение Чехова можно пригнать к отчаянию. В одной статье рядом с признанием этого я написал и утешение автору: «Благотная Чехова, и приходишь в отчаяние, то это все-таки отчаяние обогативающее: оно послужит глубоким отращиванием к мелкому и ползучему, срываясь вперевыссы, с буржуазного благополучия и заставляя презирать отступление нравственной и общественной выдержки».

Речь так, то чеховские произведения должны пестить в общество духа протеста, волю к труду и борьбе... Слишком очевидно, что такого действия чтение Чехова не производит. Скорее наоборот, оно складывает настроение пассивное, подуряет крылья бодрости стремления, обивает охоту работать.

И это несмотря на то, что сам Чехов отнюдь не был пессимистом. «Странно — до чего не понимала Чехова!» — пишет в своих воспоминаниях Куприн. «Он — это тип «неисправимый пессимист», как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в чужую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины».

В чеховских вещах мы часто читаем фразы о светлом будущем, ожидающем человечество. «Ворезь действ, твиста дѣтъ жизнь на землѣ будетъ невообразимо прекрасной, изумительной». И это — говорит нам — убеждение не только Вертинкина или Тузенбаха, но и самого Чехова.

Сам Чехов писал: «Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям, — интеллигентны они или мужики, — в них сила, хотя я и мало».

Но сам Чехов так верить, а со стороны его произведений есть безнадежность.

Такая описываемая вещь живет и так: она описана. Разговоры о будущем, будущем, о работе отдельных личностей неограниченно. Они сами по себе, и глубоко инстинктивная тоска, быстрое крушение сдержаний, усталости, тревожность неизвестности все это также само по себе. И тогда Чехову не удается показать преобразование жизни из душевного, благих результатов деятельности этих людей, от которых как бы исходят, выходя, «смыслы».

И вновь процитируем фразу о том, что чтение Чехова вызывает отчаяние, но отчаяние облагораживающее. Такая фраза отражает стремление отразить Чехова. И подобный оправдывающий тон мы нередко можем подметить в статьях, наиболее сочувственных Чехову.

Вопрос «зачем это?», ища, пытаемся да становился перед тем, кто задумывался о чеховском творчестве.

Обобщая, вопрос этот, во отношении к художественному творчеству таковы. Мы должны верить его ценности, не его называемости, а его качеством. Хорошо, значит—уже не безделье. Талантливый—к этому уже заключен смысл. И полное право на существование.

Но как Чехову что-то так удалось подходить к делу. И дело, вероятно, в том, что там (говоря в общем смысле, а не лично о себе) хочется найти основание для исключительной высокой оценки, найти какое-то чрезвычайное значение Чехова.

Представим себе, что говорить с нами близкий и дорогой вам человек. Вас беспокоит его речь, оставляет в вас сомнительный осадок, собственно говоря, этот человек портит вам настроение. И вместе с тем вам так приятно беседовать именно с этим человеком, как пьеса в силу нашей близости. Вы стараетесь отыскать особый смысл в его речи, доказываете, что в самой безнадежности его размышлений есть нечто облагораживающее, пробуждающее стремление к высшему и больше прекрасному, тем, то, что есть и что так плохо.

И затем еще одно. Раздвоенная тоска уже полонит тоску... Тяжело говорить о своей жизни, если она пуста и тоскава, а все как будто так такими разговорами легче живется.

А как дорого бывает, если удастся пойти у другого человека и получить участие слова о том, что нам тоска. Разве не легче становится неприятно, если о нем красиво и интересно рассказывается?

Чехов любил средние, обыкновенных людей. Они и были «героями» его произведений. И об их злостной доле писатель говорить не с тем, чтобы бичевать и пробуждать дух протеста. Жизнь всеядна и ужасна в своей малости, по людям, этой жизнью живущие и не создающие, заключающих не сурового укора, не призыва к исправлению этой жизни, а любви и участия. «Вы и я мы любим обыкновенных людей» — писал однажды Чехов Суворову. А ведь, читая Чехова, можно сделать вывод, что в этих обыкновенных, даже хоро-

ших обыкновенных людях и лежит часть «горни ада», или то, что держит в безысходности нашу жизнь.

Статьи только придавать широкую замечательную красивую, с лирическими настроением выданную форму, и мы будем иметь прекрасную формулировку значения Чехова.

Например, «Чехов был создатель, что бы стать истинно красивой русской тоской, безоглядной папой почали, выходящей как бы шепотом чувством русской души и составляющей ее великую прелесть. В этой тоске, полноте, красоте и силе папы из русских писателей не отдала себя этому настроению, и в этом—право Чехова на крупное народное значение».

Мы знаем, конечно, что прелесть «красивая русская тоска» на деле вовсе не красива, но разве не утешительно находить особую прелесть в том, что является нациям исторически припадком? У Чехова нет такой идеализации «безотчетной папой почали». Например, но критик удачно выражает типичное самоублаждение «чеховского» человека.

Поэтически инспирируя этой чудесной пачкой Чехов не только нам, и помогал будущим поколениям перенести ее в нашей невеселой жизни, где она часто состоит не так поэтична и красива...

Такое действие чеховской поэзии (а это такая как будто будничная проза часто является истинной поэзией) аналогично действию музыки. Томашев переживал облегчение музыкой, но не веселой и подрой, а именно проникнутой тем же томительным настроением. Облегчение, успокоение достигалось переводом переживания в музыкальную, ритмически успокаивающую и утраченную безблизкую остроту, форму.

И чеховская речь отличается именно музыкальностью. В ней бывает обычная ритмичность. Не благодаря ли ритмичности чеховской речи передается нам, несмотря на сознательную холодность тона, яркая душа писателя? Но в этих ли ритмах табуированные нити, создающие такую интимную близость между писателем и читателями?

Сам Чехов, без сомнения, сознательно стремился к музыкальности своего языка. В нашей книге читатель найдет указание на то, какое значение придавал Чехов. *Близкому* речи: он соглашался молчать писателям забыть неблизкую чуждую слезу, сам не любил слов, где много шипящих и свистящих. А в одних воспоминаниях передаются слова Чехова, что, читая корректуры, он направлял свои предложения только со стороны *музыкальности*.

И когда, так раздумывая, припоминаешь, *работы*, в *литературу* чеховских рассказов, это подающий художественный талант и обаяние его прекрасной души, тогда уже не спрашиваешь, зачем «папа Чехов» писал свои рассказы...

ЭДИП.